

ВЛАДИСЛАВ ШАПОВАЛОВ



МАРШЕВАЯ РОТА

РАССКАЗ

Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случилось наблюдать в жизни и переживать.

Л. Н. Толстой

1

На следующий день после показательного, для острастки, расстрела двух дезертиров, что входит в программу подготовки молодого бойца, снайперской роте объявили построение с вещами. Ранее таких построений не было; ребята растревожились.

Слухи о том, что вот-вот начнут формировать маршевую роту, томили душу и прежде, хотя к тому всё и шло. Но одно дело слухи, а иное — вот она, роковая минута — сердце оборвалось...

Молча каждый, сопя, трепыхал свой сидорок, выкидывая лишек. В казарме установилась непривычная тишина, если не считать шорох возни. Пол захламился клочками газет, ношеным тряпьем и бог весть какими соблазни-

ШАПОВАЛОВ Владислав Мефодьевич родился в 1925 году на Белгородчине. Семнадцатилетним, в 1943 году, ушел на фронт. Тяжело ранен в бою. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу" и др. В конце войны ему было присвоено офицерское звание — младший лейтенант. Окончил Днепрпетровский государственный университет и тридцать лет учительствовал, был директором школы. За плечами автора более двадцати книг прозы. Член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии "Прохоровское поле". Живёт в Белгороде.

тельными вещами, негодными в окопе. Смотрю и дивуюсь тому, сколько скрытого хлама таилось в котомках среди шмоток и как всё враз оголилось на глаза. Необычная обстановка взвинтила и до того натянутые нервы.

У Колоня Лапко выпала, стукнув о пол, иконка. Паренёк испугался и, полохливо озираясь, пихнул её обратно в мешок. Стянул заснурком узел.

По возрасту Колоня самый младший в роте. И самый хилый по здоровью. Сквозь тонкую, туго натянутую кожу лица у него просматривались черепные кости. И какой-то он весь невдалый: то пуговицы у него перепутают петли, то обмотка сосунется на ботинок. А то забудет подперезаться, оставив брезентовый поясok в казарме.

Да и все остальные не намного, на несколько месяцев, старше Колоня. И по здоровью далеко не ушли. Это был последний призывной год войны — 1925-й, который сгребали по всей стране. Правда, на фронт частично попал и 26-й, а иные юнцы, редко, и 1927 года рождения. Но это не правило... В отрочестве, за два года оккупационной бескормицы, они не взяли рост, а на харчах запасного полка не взяли вес. И если говорят о “пушечном мясе”, то сейчас гнали на убой “пушечные кости”. Немецкие газеты на русском языке времён оккупации, как значилось в выходных данных, “для населения областей, освобождённых от жидо-большевизма”, карикатурно изображали Главнокомандующего: Сталин берёт из люльки за ушко младенца с соской во рту и перекидывает его в открытый люк танка — “тотальная мобилизация”.

Чья бы мычала!

Последней сгребал и Гитлер. Команды поганышей — Hitlerjugend (“гитлеровская молодёжь”) — сопли до пола — жгли в Берлине из-за угла фаустпатронами танки, что стало полной неожиданностью для нашего командования, по генеральской дури загнавшего броневые машины в межстенные ловушки улиц, где нет манёвра.

— Выходи строиться! — опять по сердцу.

Эти зычные, с металлическим дребезгом, команды Курского Воробья пробивали барабанные перепонки насквозь, дважды отзываясь эхом в ушных раковинах. А называли старшего сержанта Болтина по аналогии с “курским соловьем”, откуда он родом. Низкорослый, копнистый, с пупырышком носа на круглом монгольском лице, он взял голосом, чем изгалялся над ребятами невыносимой, до влягу, муштрой. Команды подавал с каким-то кичливым пренебрежением к нам, на что имел основания.

Ещё в годы войны и долго после “весь советский народ” (так и рвётся перо в строку: “Как один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет!”) — так вот, “весь советский народ” поделили на две части: “чистых” — и “нечистых”, которые оказались в немецкой неволе. Это около 40% населения страны. И так как под коричневую пята угодили, в основном, земли восточных славян, то и “меченых” среди них оказалось больше, чем у других народов. Чистые — первосортные — вернулись из эвакуации невредимо, заняли в городах квартиры и значные места, нам же, второсортным, побывавшим под оккупантами, вернувшимся с войны, достались негодные ошурки.

Метки публично не оглашались, а скрытно таились в сейфах органов и кадровиков. Я более десяти лет носил позорное клеймо и в личных делах унижительно заполнял графу: “Находился ли на оккупированной территории и чем занимался”. Да выживал на краю гибели, брошенный на произвол судьбы...

Нынешнему поколению трудно представить, что такое два года беспросветной ночи фашистской оккупации. Одна только бытовая деталь: сразу оборвалось электричество, не стало воды и отопления зимой. Не стало работы и зарплаты. Не стало снабжения и магазинов. Ничего не стало...

Ну, это ещё куда ни шло! Надо было вернуться от лассо, арканящего рабочую скотинку на каторжные работы в Германию! И это не всё: надо было не угодить под затылочный шлёп, а я был залётным мальым, залетел однажды и в застенок, отдав свой подневольный срок. Дрожь по коже, как вспоминаю: узкие, плетённые серебряным шнуром погоны, чёрно-белая, с

красной окантовкой ленточка, загнутая за борт кителя, гузно кокарды с паучьей крестовиной свастики, нацеленное в тебя с фуражки...

Старший сержант Болтин принадлежал к “чистым”, потому его отношение к нам, “оккупированным”, соответствовало духу времени, что дало ему право вволю поиздеваться над хлопцами за четыре месяца службы в запасном полку. Бывало, за какую-нибудь пустяковую провинность заставит утюжить снег по-пластунски — у нас бушлаты на животах, вылиняв, побелели.

Впрочем, нас, вероятно, истязали маршировкой — носок на уровень плеча! — вовсе непригодной в окопе, закаляя на выносливость и, естественно, для укрепления дисциплины, что именуется беспрекословным повиновением.

— В колонну по четыре стано-вись!

Утешала надежда: изнурительная муштра скоро кончится.

— Живо разобраться!

После списочной проверки (меня, как всегда, по фамилии, окликнули последним) роту вывели за ворота.

— Э-р-рясь! Э-р-рясь! Э-р-рясь! — приводил в порядок шаг роты, рвал связки Воробей.

С Холодной Горы, приглушённые, мы спустились к железнодорожной станции на товарную площадку, где спаренные рельсы подходили к длинному пакгаузу. Торцевая дверь пакгауза, оббитая для скрепы толстым полосовым железом, больше походила на ворота, куда мог вкатить грузовик. Ворота были отворены настежь.

У пакгауза, с левой стороны ворот, стоял на возвышении упитанный еврей лет тридцати, в капитанских погонах и смушковой шапке. На нём была добротная, светло-бежевого цвета дублёнка, продавленная наискосок по груди португесей; на ногах — фетровые, на кожаной подошве, тёплые валенки с прошивкой тесёмки из коричневого хрома спереди. Я так прикинул, по серебряным погонам: верно, интендант, а то и завскладом.

Капитан свысока смотрел, как хлопчики понуро бредут вольным шагом на взъём эстакады в распахнутые ворота склада. И торец пакгауза, и разинутые ворота напомнили мне дверку огромной печи, карикатурно изображённой в газете времён германской оккупации.

Сталина рисовали с низким, в два пальца, лбом, большим крючком шнобеля, длинными, ниже подбородка, моржовыми усами, в обычной для него “сталинке” с нагрудными карманами, в грубых сапогах до колен. Он стоял с увесистой грабаркой в руках у огромной печи. На передней стенке печи большими буквами было начертано: “ВОЙНА”. А к открытой дверке печи, где в ненасытном жерле бушевал огонь, подходила нескончаемой лентой от самого небокрая к своей погибели колонна красноармейчиков. Кормчий, весь в поту, черпал грабаркой членистые повзводно квадратики солдатиков, кидал их в прожорливую пасть Молоха. Из высокой трубы валил чёрный дым.

На складе каждый получил увесистый клунок верхней и нижней одежды, бушлат, пустой вещмешок, пару портянок и два скрутка тёмно-серых, с голубым отливом обмоток. Примерил по ноге юфтовые, свиной кожи, с крапинками счёсанной щетины, ботинки на рубцовой резине. Обнова — радость. Почувствовать себя в военной форме всегда приятно. Однако тот смысл, который она приобрела теперь, тягостно поверг в уныние, начисто сняв юношеский восторг. После санитарной обработки, одетых с иголки, сияющих чистотой, как огурчики, нас прогнали торжественным строем перед штабом полка.

Ритуал маршевой роты сроден похоронам: и там моют, одевают в чистое, провожают с музыкой и с рясыком в чёрном; и здесь моют, одевают в чистое, с музыкой, и теперь — с рясыком в чёрном.

По такому знаменательному случаю вынесли из клуба фанерную тумбочку с красной звездой на передней панели, поставили рядом расчехлённое знамя с тройкой бойцов. Один, в центре, держал у ноги древко знамени, двое по бокам положили руки на автомат у груди. Меднотрубно поблёскивал на солнце возле трибуны истомно ожидающий оркестр. Небольшого росточка, живой, смахивающий на цыгана, дирижёр в звании капитана нетерпеливо

дёргался перед своей командой. Ярko алели в лучах солнца, будто кровью налитые, складки знамени.

Выступающих не объявляли. Сначала к трибунке вышел подполковник с круто загнутым к губе носом. Видно, командир запасного полка. В казарме мы его не видели. Его сменил, наверное, заместитель по политчасти, тоже подполковник лет сорока, его мы тоже не знали. Чернявый, с ужатым по бокам, вытянутым вперёд неславянским лицом, длинный, как угорь, говорил громче, размахивал руками круче, утверждая каждую фразу вздёргом головы. Временами казалось, что ему не давал покоя агитационный зуд войны.

Оба кидали из-за тумбочки, точно как из амбразуры, плакатные лозунги, обмозолившие глаза в казарме. Всё это мы слышали десятки раз, как повторение — мать учения: и “Родина — мать зовёт!”, и “Будь героем!”, и “Бей насмерть!”... Видимо, для поддержки боевого духа требуется непрерывно через сознание пропускать пропагандистский ток, чтобы человек постоянно был идеологически наэлектризован. По их выкладкам выходило, что война — это естественное состояние жизни, а не наоборот, что каждый должен отдать все силы на разгром ненавистного врага, а если потребуется, то и свою жизнь, что называлось героизмом. Что мы должны гордиться доверием, которое оказывает нам командование... доверием на смерть...

Говорил заместитель по политчасти долго, занудно, а, как известно, длинные речи имеют короткий смысл. Слушали его изморно рассеянно, головы одолевали иные думки. Закончил он самым частым тогда призывом: “Смерть немецким оккупантам! Ура, товарищи!”

И хотя накануне Воробей десятки раз наставлял, вымучив пробамии, гоня в мороз по снегу, как на смотре следует гаркнуть во всё горло: “Ура!”, что означало бы отличную боевую подготовку, в этот раз “ура” вышло жидковатым. Ребята почувствовали уже отвязку от злополучной казарменщины, вели себя вольнее: по-пластунски теперь не уложат, некогда. Маршрут расписан по минутам.

Сержанта передёрнуло — ему такие вольности подчинённых в зачёт не пойдут, а то могут отпирать, что страшнее всего, и на фронт. Уж очень тихо он прилачился в щёлке запасного полка.

Впрочем, на передовой это “ура” так ни разу и не пригодилось. И когда, наконец, зычно раздалась команда: “Рот-та, напра-во!” — а в первый шаг громовым ударом бухнул барабан и медные басы, не опоздав, гулко рывкнули низкими тонами ему в такт — мурашки пошли по коже...

Вот как хитро всё придумано: и слово, и нота, и пуля — в один лад.

— Э-р-рясь! Э-р-рясь! Э-р-рясь! — вступил в свои права Курский Воробей, как только замолк оркестр, боясь, что маршевики без барабанного такта соьют шаг. Он с особым смаком, пружиня на ногах сбок роты, чеканил своё “Э-р-рясь!”, вкладывая в него всю душу, будто это главное дело на земле, к которому он приуродён и которое исполнял отменно, как мастер высшего разряда, довольный тем, что классно вымуштровал настоящих бойцов за четыре месяца издёвки.

А мы радовались, что это “Э-р-рясь!” последнее, заключительное, потому что Воробей оставался в запасном полку, где приписан, хотя радоваться нечему...

И как только скрылся угол последней казармы, колонну опять оглушил тот же занудный голос:

— Запе-вай!

Дуня-Тонкопяха взял высоким тоном первую строку песни, вывел чуть пониженным вторую, затем третью и четвёртую, и вся рота, накачанная подъёмным торжеством, гаркнула застуженными, но трюхи окрепшими за три дня без изнурительной муштры и улучшенной кормежки голосами во всю мочь:

*Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идёт война народная,
Священная война!*

В наше время сорвалась бы с цепи автосигнализация легковушек.

Глотки рвали механически, так же мыслили.

Жидкая толпа зевая сбок обеих сторон улицы, образовав живой коридор, местами разомкнутый пустыми, без людей, прогалинами, не понимая, что так жить нельзя, восторженно взмахивала руками, а иные, с цветами, кидались наперерез маршу, сбивая твёрдую поступь грозного войска.

Так показывали нас в кинохронике — и это сущая правда.

На беду, случилась оплошка. Незадачливый Колоня неукладно накрутил обмотку. И как раз, когда под громовую песню рота, выкидывая по-строевому ногу, с тупым рыком шлёпала резиновыми подошвами о булыжники мостовой, обмотка ссунулась на ботинок и рассучилась. На брусчатку, дзенькнув, выпала алюминевая ложка.

Сзади идущий наступил на конец. Колоня споткнулся, пнув переднего, и ряды смешались, потеряв строй. В толпе засмеялись. Песня оборвалась. Кто-то матюкнулся.

— Лапко! Выйти из строя!

Курский Воробей украинские фамилии произносил с озлобленным выизгом.

Колоня выскакал на обочину, согнулся в три погибели, выпятив на спине горбом вещмешок, начал снимать обмотку: раскручиваешь двухметровую кишку — “Широка страна моя родная...”, навёртываешь — “И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт”.

Казарменные прибаутки шли следом.

Войны последних времён я рассматриваю как продукт мирового капитала, порождённый системой, которую точно определил наш выдающийся учёный О. А. Платонов: “Капитализм возник как антихристианская идеология, основанная на экономическом учении Талмуда и ставшая, по определению философа А. Ф. Лосева, одной из сторон развёртывания сатанинского духа неприятия христианской цивилизации. Главной целью жизни, согласно идеологии капитализма, является материальное преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми возможными средствами и, прежде всего, за счёт обмана и эксплуатации более слабых народов и членов общества”.

Здесь впору вспомнить В. И. Ленина: “Европейская и всемирная война имеет ярко определённый характер буржуазной, империалистической, династической войны. Борьба за рынки и грабёж чужих стран, стремление пресечь революционное движение пролетариата и демократии внутри стран, стремление одурачить, разъединить и перебить пролетариев всех стран, натравив наёмных рабов одной нации против наёмных рабов другой на пользу буржуазии — таково единственное реальное содержание и значение войны”.

Отсюда — в Отечественную мы воевали не только за себя, а и против себя, отодвигая окончательное поражение на столетия, ибо, уничтожая одну напасть, мы спасали другую той же масти. И если в то время под знаменем пламенного патриотизма сгорали миллионы лучших из лучших сынов Отечества заради неведомых для нас тогда, как оказалось теперь, чуждых целей, то нынешний “демократический” возврат к патриотизму не что иное, как повторение пройденного. Только в ту пору мы действительно обороняли и Родину, теперь же защищать нечего...

“Запах русской крови, видимо, сладок” (гений русской музыки Г. В. Свиридов).

Особенно сейчас. Чуют они его! Запах русской кровушки!

Конечно, мне могут возразить: в 45-м году мы победили. Внешне это выглядит правдоподобно. Однако глубинно зачистка осуществлялась одними и теми же силами с одной и той же целью как тогда, так осуществляется и теперь. И тогда мы были поставлены в безвыходное положение класть головы, и теперь безвыходно кладем их. Только иным способом. И рука этого процесса одна и та же, что составляет главную проблему человечества. И решать её следует не в одиночку — в одиночку нас перетрут, а всем миром разом. Никто не отсидится в своей обособленной норке. Всех достанут. По очереди. Не осознаем — исчезнем.

Из Харькова выехали под утро в телячьих вагонах без буржук — что надьшали, то и наше. Судя по направлению, состав держал курс на Киев.

Мне досталось место на втором ярусе нар, у откидной, из железа, щелясто не пристающей к стене, затворки под самым потолком товарного вагона. Вещмешок под голову, ушанку для сугрева глубже на голову. Упаковался — и на боковую, ни тебе подъёма, ни отбоя, валяйся, сколь душе угодно, да и лучше: не толкаться лишний раз в сутолочном проходе.

Сначала огорчился: на ходу задувал ветер. Пришлось откатать уши, завязав тесёмки у подбородка, поднять куцый воротник бушлата. Но потом, на нудных стоянках, когда начинало мутить от кислого пота, запрелых портянок, а то и от скрытного шишуна, за что давали тычка, успокоился. Благо ребята ещё не курили, не успели привыкнуть при немцах, в такой бескормице не до пацанячьего баловства. Морально мы были самым чистым и непогрешимым поколением.

Я упаковался, закрыл глаза, мысленно отгородил себе от вселенной маленький мирок и, не живя настоящим, противясь реальности, плавая мысленно где-то в заоблачных высях, убаюканный мерным стукотом колёс, умиротворённо заснул.

— Какая станция?

Меня побудил голос Дуни. Дверь была отодвинута набок, в проёме чернела его сутулая фигура. В затхлый вагон ворвался бодрящий дух весенней свежести, и я прищурил глаза от обилия света.

Уже появились первые мартовские проталины, хотя по ночам схватывали обесиленные заморозки, а на полях ещё лежал усадистый снег. Но заметно потеплело, и отсюда, с высоты неплотно примкнутого оконца товарного вагона, сквозь мереживо чёрно отсыревших ветвей, сетчато видно, как просели подпорченные внешней водой, зрелые на талину сугробы, и радостно тронулись вербные почки. Прилетели грачи, набив чёрные костыли в голые кроны пристанционных вязов. И всё это весеннее пробуждение природы никак не вязалось с тем, куда устремилась человечья жизнь... У человечества есть все данные, чтобы стать счастливым, но человечество все силы покладает на то, чтобы оказаться обездоленным. И я порадовался безбрежному свету, порадовался грачам, неукротимой радости почек, всему этому блаженному миру, но сразу притушил наивный восторг тягостным гнётом завтрашнего дня.

— Миргород, — слабо донеслось издали через прогалину отворённой двери.

Дуня-Тонкопыха засуетился. К нему так и прилипла нелепая кличка из-за песни, которую он бубнил под нос. Есть люди, которые в коллективе служат как бы связующим звеном, на них и держится товарищество. Стоит этому человеку выбыть, как сообщество распадается. Таким как раз и был Петяша Величко, по-свойски Дуня.

Если большая станция, то будет переключка перед вагонами — государево око бдило строго, чтоб иной не выпрыгнул из рядов на сторону. А может, дадут и похлёбку или кирзовую кашу, называемую перловой шрапнелью.

— А ну-ка, Федюнчик — за котелочки да за кипяточком!

Федя за кипятком не ходил. Все знали, что на перрон, где бесплатно отпускают горячую воду только военнослужащим, пойдёт сам Дуня, прихватив Сошинского-младшего и ещё двух-трёх со взвода.

Федя Прокудин, уменьшив годы, затесался в команду восемнадцатилетних и выглядел солиднее, его назначили старшим по вагону. В строю, по росту, он был первым, норовил командовать. Федю осаждали. Особенно подсекал острым словцом его гонористую прыть Юра Сошинский-младший. Юра выделялся начитанностью и рахубистой головой, на что я сразу, не без скрытой завидки, обратил внимание. У меня всегда была тяга к умным, а Саша часто высказывал мои мысли, что всё больше роднило меня с ним. Я считал, что всё, что он говорит, правильно.

Сошинских было двое: братья-двойняшки, не похожие друг на друга. Младший Юра, послабее и ниже ростом, суше телом. В общем, последыш.

А старший Владимир — лежебокий увалень, сёрбающий носом, то ли с привычки, а может, и по родовому ущербу.

Горячим не покормили. А переключку провели. Вывалилась перед вагонами повзводными кучками страна бушландия, построилась в две шеренги.

— Подравнять носочки! — показывал себя Федя Прокудин перед комендантом поезда.

— Подравнять портянки... — съязвил Юра.

Место для построения оказалось негодным, под скос насыпи, равнение действительно ни к чему. Ребята загоготали, толкая друг друга, теряя равновесие. Мы думали, что избавились от Курского Воробья, его заменил Федя.

Наконец, когда всё уюмонилось, поезд тронулся. Медленно проплыла вывеска станции: *МИРГОРОД*.

На стене, сбоку и ниже вывески, выделялась чёрными буквами в два ряда, отпечатанная через трафарет, надпись: *МИН НЕТ*.

Иван Старук.

Миргород... Миргород... Миргород...

Что-то до боли знакомое с детства.

Да это же Гений!

В двадцатых годах прошлого столетия отец, мой дорогой Мефодий, выписывал собрание сочинений Гоголя. Пухлые томики на серой бумаге, неразрезанные постранично, приходили почтой без конвертов, обвязанные поперёк полоской бумаги с адресом. Отец брал кухонный нож, осторожно, чтоб не повредить бумагу, разнимал страницы, отчего лохматились края книги. Да не в этом суть. Как сейчас помню мягкую обложку с чёрно-белым рисунком: театральная сцена, две свиньи, схватив с двух сторон зубами концы занавеса, стягивают половинки к середине, а из открытого проёма, в несколько рядов друг на друге, вываливаются на свет божий толчей и черти, и вурдалаки, и прочая нечеловеческая нечисть. Такие рисунки скирдуются в памяти навечно.

Занавес...

Какое у нас было счастье: “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС!” От беды.

Спасительный занавес! Вы помните: граница на замке!

Мурловатые пацочки не удержали, не сомкнули распахнутые края, не замкнули, взяв на замок, занавес, и всё западное дерьмо зловонно хлынуло на города и веси, леса и поля, затопив демократической гнилотой родную землю до последней былиночки...

Вспоминать прошлое и легко, и отрадно; в настоящем тяжко. Прошлое свершено, настоящее вершить, что неимоверно трудно. И я, роясь в кружеве памяти радужного детства, забывался, не гнобя себя заранее грозным грядущим. Вспоминались почему-то самые светлые кусочки жизни, отчего легче носилось долгое и нудное время продвижения к неизвестному... упокоению, а оно постоянно, как топор палача, висит над головой...

Я прочёл уйму книг о войне. Недалёкие литераторы полагают, будто чем больше они выстрелят на странице, чем больше нагонят на читателя пушечно-пулемётного страха, тем сильнее окажется впечатление от действительно фронтового кошмара.

Пустьяки всё это!

Главный психизм происходит до. В движении к передовой. А как поднялся в атаку, там уже забываешь обо всём, кроме “бабах”. Всё до примитива просто: везение или невезение. Повезло — ты его; не повезло — он тебя. И всё! Иного не дано! Да и суть войны тоже до примитива проста: убить — забрать. Как убить и сколько забрать — это уже стратегия и тактика. Думается, что идут с оружием наперевес иступлённо, часто не отдавая себе отчёта, напрапают. Одно на уме: поразить — спастись.

Интересно, что и после ранения возвращается то же состояние — осмысление былого, но оно уже носит иную окраску.

Я понял это рано, потому в моих произведениях о войне, даже самых ранних, почти нет стрельбы. В художественном отношении она малозначима и может играть лишь вспомогательную, служебную роль. Ещё Лев Никола-

евич Толстой заметил: “Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве”.

3

Жизнь в маршевой роте, на колёсах, и привольна, и легка, одна забобушка — это если покормят на большой станции горячим — вовремя столпиться у дверной створки с котелком, чтоб влили твою толику, и, облавив котелок покрепче, зажав, чтоб не выбили, пайку хлеба — хоп на своё место. Ну точно, как в тюрьме.

Вот на древнем холме и славный град градов Киев с дивными звонницами в небо, куполами в золоте.

Медленным котом, глухим стукотом колёс, будто по мякине, проплыли мимо сторожевой будки, мимо часового с оштыкованной винтовкой, примкнутой к ноге. Неожиданно совсем рядом, у самой двери вагона, блеснула вода. Неподальку по Днепру, вверх по течению, просел между быками пролёт клетчатой фермы от моста; разломилась надвое колбаса, занурив концы в мерцающую на солнце воду. Сапёры ползают муравьями на плавучем кране; поднимают, обвязав тросами, железные обломки. И как только усмирённые колёса прошелестели по опасному месту, как только почувствовали под собой земляную твердь, враз ходко застучали, выцокивая свою тревожную песню.

Товар срочный.

В расщелине двери мелькали одна за другой станции. За Житомиром появились первые зенитные установки — значит, сюда долетают вражеские бомбардировщики.

На таких станциях, с обеих сторон при въезде и на выезде, торчали в небо тонкие стволы пушек, окольцованные земляной обваловкой. Молоденькие зенитчицы — одна лучше другой — уже по-летнему, в пилотках поверх причёсок, отчего на расстоянии казалось, будто их головы конусно заострены перевёрнутой вверх корнем редькой, прощально взмахивали руками; зелёные маршевики безнадёжно лепили им на ходу воздушные поцелуи — под бравурный хохоток, пошловатую удаль.

Отъявленный шибеник Дуня, грызя каменный брусок пшённого, сладковато-горького концентрата величиной с кусок хозяйственного мыла, запивая холодной водой из кружки, склёпанной из-под консервной банки, не стерпел: — Эх, ма! Покружить бы всласть!..

Федя Прокудин чмокнул губами; нецелованное воинство замкнуло рты. Только едкий Сошинский-младший подсекнул язвинкой:

— На сухом пайке не погарцуешь.

Маршевая рота — это смертный приговор. Грозит каждому. И никто не знает, кому он уготован. Как никто из нас, лежебоких бездельников, тогда не знал, что первым из нашей команды ляжет на поле брани именно он, лучший из лучших, как я считал, Сошинский-младший — последыш, выбравший остатки, по слабости любимец матери, опекавшей его больше старшего Владимира. Сошинский-старший всю войну прошёл не задетым и, после демобилизации обосновавшись директором в рыбсовхозе, что в пойме Самары — левом притоке Днепра, окончательно разжирел и, проспиртованный до мозга костей, благополучнейше почил в райском хмелю.

Я встретил его лет пятнадцать спустя после войны, когда дядя Павел, материн родной брат, Куцевский Павел Никифорович, взял меня на рыбалку в самарские плавни с их бескрайними разливами, опущенными по берегам плакучей ивой.

Ехал я на встречу с какой-то неудержимой, трепетной радостью увидеть окопника — сколько братских слёз окропит рубахи крепкая обнимка, сколько слов, сдавленных горлом, не будет высказано сразу. Только потом, когда отойдут сердца, сколько боевого братства всплывёт в памяти из тяжкого прошлого...

Вовка Сошинский так же сёрбал носом; за это время, заматеревший, оплывший, он погрузнел и выглядел не по годам старо. Вёл себя удовлетворенно

властно, как хозяин своего поместья. Он глянул на меня как-то по-бычьему из-под картуза и, не говоря ни слова, пошёл к “уазику”, достал из багажничка бутылку и стаканы, штук пяток вяленых плотвичек. Разровнял взмахом рук в стороны газетку на траве, с трудом, на неровностях, установил стаканы. И так как я не пью, разговор у нас не склеился, никакие воспоминания о боевом братстве не понадобились... Я поднялся и ушёл на сижи снимать перемёты.

Дожигал свои последние дни август. Плакучая навесь ив, уткнув прутики веток в не тронутую гладь реки, роняла горькие слёзы в глазированную закатным золотом воду. Смотрю, а перемёты мои ходят вверх-вниз по течению. Подогнал древний, в слизи зелёных водорослей каюк, стал поднимать крючки, идущие через интервалы ко дну от перекидной через реку, от берега к берегу, лески. И тут впервые проснулся во мне пещерный инстинкт моих давних, тысячелетних предков — чувство добычи, когда видишь в глубине, под бутылочно-тёмной толщей воды, как что-то ещё неопознанное водит шнур туда-сюда — вот вытяну сомину пуда на два!..

Самое сильное охотничье чувство захватывает, когда пожива под водой, и ты не видишь, что тянешь. А когда добыча всплыла, страсти укладываются.

Теперь задача выудить её и выметнуть на берег. Я подел пальцами туго натянутую тетиву, осторожно потянул на себя. Под водой показалась большая рыбина. Она водила мою руку, норовя спрыснуть с крючка. Но вот и бычья голова с разинутым на крючке ртом — рукой подать. Карп вышел наполовину из воды и, блеснув на солнце золотой сковородкой, хлопнул обратно в пучину. Не рыбина — сердце оборвалось.

Тогда я взял осторожно вторую жилку. Повёл её — карп опять так же сорвался. Что за чертовщина! Берусь в третий раз. А тямю нема, чтобы сачком подваживать. Он-то, карп, своим весом и оборвёт губу... Рыбачил я впервые.

Прошёл до края и только тут ахнул: так это же я пустил их на погибель...

На беду, явились дядя Павел и Вовка. Поддатые. Особенно Вовка. Он поднял перемёт и увидел на каждом крючке по рыбьей губе.

Оторопь взяла. Прескверно заняло сердце...

Неожиданно поезд остановился. Ребята прислушались. Прошёл на быстром ходу встречный, колыхнув дряхлый вагон воздухом.

— Вот бы их туда, с нами... — не унимался Дуня.

В наступившей тишине его звонкий голос, гожий для строевой песни, слышен по всему вагону.

— А чё им там делать — пули титьками ловить?

— Вот посадят в окоп, дадут снайперскую винтовку. Будешь целоваться через оптический прицел.

— Говорят, на фронте начальство заводит себе баб. ППЖ называются. Походно-полевая жена.

— Так-то тебе и жона!

— А чё, начальство всё может. Им разрешено.

— Так в шинелях они даже бабами не пахнут.

— А ты нохал?

— Вот Федюня... — осёкся Дуня, вспомнив Луганск, где Федя переспал с хозяйкой, напустив ей в постель вшей.

— А что Федя! Он теперь держит двумя руками... Галстук-то.

— Ха-ха!

— Под одеялом, чтоб не сбежал.

— Так одеял нема...

— Какая разница: под одеялом или под бушлатом. Гнёт гусака в дугу. Урезонивает.

— Не в дугу. Под поясок заправил.

— Гы-гы!

Федя, уловив плутоватый перегляд товарищей, озлился:

— Ты лучше подмети пол.

Дневалил Дуня.

— А чё стоим? — отвёл он разговор.

— Колёса к рельсам примёрзли.

— Куда спешить?..

— Успеем. Не на свадьбу. Что сейчас взяли — то и наше.

Тормозные колодки медленно отошли, отпустив колёса, и они, тихо шипя, набрали ход, выцокивая свою вечно походную чечётку.

Нужно сказать, что в запасном полку, тем более на фронте, фривольные разговорчики случались редко. Не до того. То ли крайняя умора убойной муштры, то ли постоянная угроза уморы на передовой. Плоть замирала. Как бы отключалась. Юра Сошинский-младший выразился бы грамотнее: наступала полная импотенция в самом сексуально-бурном возрасте. Это сейчас ребята, развалиясь на двухэтажных нарах в старом, скрипящем на ходу вагоне, за несколько дней отлёжки в пути чесали языки от безделья. А так, в то время великой беды, нравственность, как никогда, была в чести.

Правда, в госпиталях, случалось, отъевшись на усиленных харчах, какой возьми да и взбрыкнётся по пьяни. Но медико-девичий корпус по непорочности запечатан был наглухо, начальство следило строго. Да и моральная чистота, переданная по наследству от потомков твёрдыми устоями, соблюдалась неизменно. А тогда они, наши удивительные цесарочки, чаяния свои устремляли не на блуд, а на заветное: как обустроить очаг в супружеском согласии да отоплить его потомством. Это в наше время пришло — злосчастное воронье срубило мораль под корень...